

Константин Константинович Вагинов

Бамбочада



Константин Вагинов

Бамбочада

«Public Domain»

1931

Вагинов К. К.

Бамбочада / К. К. Вагинов — «Public Domain», 1931

ISBN 978-5-699-22859-1

«Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых», – вспоминал Николай Чуковский. Писатель, стоящий особняком в русской литературной среде 20-х годов XX века, не боялся обособленности: внутреннее пространство и воображаемый мир были для него важнее внешнего признания и атрибутов успешной жизни. Константин Вагинов (Вагенгейм) умер в возрасте 35 лет. После смерти писателя, в годы советской власти, его произведения не переиздавались. Первые публикации появились только в 1989 году. В этой книге впервые публикуется как проза, так и поэтическое наследие К.Вагинова.

ISBN 978-5-699-22859-1

© Вагинов К. К., 1931

© Public Domain, 1931

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	20
-----------------------------------	----

Константин Вагинов

Бамбочада

Бамбочада – изображение сцен обыденной жизни в карикатурном виде. Г. Ван-Лир, прозванный il Bamboccio (калека), в XVII в. славился этого рода картинами.

Ф.И. Булгаков. Худ. энци., т. I

Матреша Белоусова была уже в летах. В деревне ее звали однокоской. Она служила в нянях и утверждала в течение пяти лет, что ей – двадцать пять. Она была жеманна и говорила про домовика Прошу, что он ворочает ее как куколку. По вечерам, перед тем как ложиться спать, она перед осколком зеркала заплетала волосы в мелкие, мелкие косички; чтобы скрепить их, она плевала на пальцы.

Она угрожала так:

– Я его шпокну!

С ней познакомился Евгений Фелинфлеин в год ужасающих морозов, каких не было уже лет сто.

Фелинфлеин уже не был пухлым, румяным шестнадцатилетним мальчиком. Восемь лет авантюр, путешествий и вранья несколько изменили выражение его лица, возраст расширил Евгения в плечах, вызвал растительность, хотя и умеренную, на его щеках.

Наступала весна.

Матреша Белоусова стояла у ворот в своем старомодном пальто и шелковом платке под парчу.

Фелинфлеин в огромных очках шел, постукивая палкой, и размышлял:

«Где бы мне пообедать, у кого переночевать, что предпринять, чтобы не было скучно?»

В прошлом остался цирк в Бухаре, т. е. вырытое в земле углубление, уставленное деревянными скамейками с накинутыми на них коврами; там после пляшущих лошадей и полной танцовщицы в пачках, прыгающей через веревку, и перед жонглером, подкидывающим цветные стеклянные кегли, выступал Евгений вместе с каким-то прохвостом, одетым в костюм трубадура, исполнявшим под собственный аккомпанемент на пиле куплеты с припевом:

Умен, умен, умен,
Дурак, дурак, дурак.

Кроме бухарского цирка, Евгений уже побывал режиссером Халибуканского театра и аккомпаниатором нижегородской радиостанции, электромонтером и актером передвижного коллектива и секретарем одной из газет на побережье Крыма, но сейчас он был безработный.

Он шел, ударяя палкою о камни, думая о том, как он здорово сыграл вместо «Интернационала» – «Марсельезу» на одном из съездов делегатов электроучреждений и какая мина была у заведующего дворцом, и как его, Фелинфлеина, выперли.

Вдруг расхохотался.

Стоявшая у ворот Матреша Белоусова, увидя молодого человека с портфелем под мышкой, в темных очках, шедшего и постукивавшего палкой, приняла его хохот за желание познакомиться, оправила юбки, вытянула голову и стыдливо прыснула.

– Милочка, – сказал Фелинфлеин, – не мне ли вы улыбаетесь? Не сдастся ли у вас комната?

И хотел идти дальше.

– Как же, как же, – пустила вдогонку барышня Белоусова, – комнатки нет, да для такого приветливого молодого человека, быть может, и найдется.

«Хе-хе, – подумал Фелинфлеин, – что это за бабища?»

– У вас в доме есть комната? – спросил он удивленно. – Уж не казначейша ли вы?

– Казначейша не казначейша, а комнату сдать можем, – гордо заявила бывшая няня.

И вдруг поднял ногу молодой человек и опустил ее на палку. «Чем черт не шутит! Может быть, бабища действительно комнату достанет?»

– Домишко-то у вас того! – сказал он, подняв голову и посмотрев на двухэтажное здание с трещиной, давно не крашенное, с небольшими окнами, с ухабным двором – если можно так назвать пустое пространство между воротами и флигелем. Боковых домов не было. Стояли ворота, а за ним на некотором расстоянии краснокирпичный дом.

– И, молодой человек, – добродушно возразила девица, – везде люди живут! А где вы лучше найдете? Небось не первый день по лестницам маетесь?!

Пошла от ворот, оглядываясь.

Евгений, как благовоспитанный юноша, последовал за барышней Белоусовой.

– Вот, Наталья Тимофеевна, – пояснила барышня Белоусова, – вам жильца привела.

Евгений скромно поклонился.

– Человек мне известный.

– Да, уж знаете, время такое, – пояснила Наталья Тимофеевна, – всем приходится сжиматься, да только понравится ли вам, уж больно у нас мизерно; по виду видно, что вы человек воспитанный, может быть, из высшего круга, а домишко у нас неблагополучный, того и гляди развалится. Ну, да ладно, раз зашли, показать надо; да только не прибрано еще, не обессудьте.

Фелинфлеин представил, какую карикатуру нарисует Петя Керепетин – «Евгений в роли...», когда узнает, где он поселился.

По облупленному дощатому полу, предшествуемый хозяйкой и сопровождаемый няней, прошел в комнату, заставленную и холодную. «Вид из окна ничего», – подумал съемщик, увидев зелень и купола собора Иоанна Предтечи.

– Не комната, а дворец! – сказал он. – Вот моя трудовая книжка; соблаговолите принять задаток.

Пропуская ступеньки, неся перед собой палку как жезл, он быстро-быстро побежал продавать чужую браслетку.

– Вы уж, Матреша, помогите вынести лишние вещи, а то здесь и казак с лошастью потонет, – закрывая дверь, сказала хозяйка.

В то время как рухлядь выносилась, причем Матреша с тайным любопытством все осматривала, Фелинфлеин заходил в ювелирные магазины и силился продать именной браслет. Но как раз проводился очередной налоговой нажим, и все скупщики золота обратились в часовщиков-кустарей. Мигом были убраны цепочки, кольца, кулоны, подстаканники, вазы хрустальные; вместо них положены были плакаты:

«Здесь производится ремонт часов». «Наша специальность – выверка часов». «Дороже всех платим за ломаные часы!»

– Я принес пустячок, – вынул Фелинфлеин разноцветную браслетку, опустил на прилавок и, скрестив ладони на палке, небрежно оперся, ожидая мелькания руки, лупы в глазу, быстрого оборота браслетки, нахождения пробы, взвешивания на руке и презрительного бросания на весы.

Но ювелир не притронулся к щепотке золота, размеившейся по стеклу, покрывавшему пустое пространство, а, подозрительно посмотрев на стоявшую в ожидании элегантную фигуру, прокричал:

– Ни золота, ни серебра, ни бриллиантов мы не покупаем, – и, повернувшись спиной к улице, левою рукой поднял браслетку и бросил на весы.

Пряча деньги в карман, удивляясь столь невежливому обращению, пожал Евгений плечами. Вышел на улицу. Прочел:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!
МАСТЕРОВ
САМОЗВАНЦЕВ,
ПРИКРЫВАЮЩИХСЯ ФИРМАМИ
ПАВЕЛ БУРЕ И ДР.
А НА САМОМ ДЕЛЕ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ ФИРМЕ
НЕ ИМЕЛИ И НЕ ИМЕЮТ.
ОТДАВАЯ СВОИ ЧАСЫ В ПОЧИНКУ
ВЫШЕУПОМЯНУТЫМ САМОЗВАНЦАМ
ВАШИ ЧАСЫ
ТЕРЯЮТ СВОЕ
ДОСТОИНСТВО.

Вдруг юноша был подхвачен под руку женской рукой в перчатке и повернул. Евгений увидел кончик носа и яркие губы одной из своих жен, Нины Псиоль.

– Ты что здесь делаешь? – радостно воскликнула она. – А ты?

– Я бегу на службу. Идем, посидим, тысячу лет не видались. Муж и бывшая жена, хохоча, пошли рядом.

– Постой! – вскричал бывший муж, когда перед ним появился неокрашенный дощатый забор и над ним облепленное снегом, с огромной, превратившейся в снеговую, лестницей, красное с серым, увенчанное фронтоном, здание.

– Евгений, Евгений, куда ты?

Юноша уже вбежал в узенький сквозной коридор, и некоторое время там была видна его уменьшающаяся фигура.

Псиоль остановилась: ей надо было спешить на службу.

Евгений осмотрел заинтересовавший его дом и, заглянув в окна, важно вышел на Фонтанку.

Накупил лучших папирос, апельсинов, шоколаду, зашел в грузинскую винницу, купил вина, влетел в кооператив, накупил всего прочего.

Евгений спешил к Лареньке.

Приложив лоб к холодной оконной раме, плакала Ларенька. Ведь вчера кроме ее жениха в комнате никого не было.

Отойдя от окна, девушка снова стала перерывать вещи. Она трясла платье, подметала пол, лазила под диван – браслетки нигде не было.

Евгений вошел с покупками. Вместе принялись за поиски.

– Не потеряла ли ты ее на улице? Не оставила ли ты ее в ванной комнате? Лариса, что же ты не отвечаешь?

– Я уже везде искала, безнадежно! – ответила невеста.

– Может быть, крысы утащили? – высказал предположение Евгений. – Ты знаешь, крысы очень любят золото. Ларя, не плачь, я тебе новую браслетку куплю, – смущенно сказал юноша. – Я пригласил Силипилина и Керепетина. Ты ведь сегодня свободна?

Юноша ушел с пакетом на кухню. Спешно стала готовить Ларенька любимый суп Евгения.

Сварила рис. Влила виноградного вина, прибавила мелко изрубленной цитронной корки, соли, сахару, толченой корицы, сливочного масла. Немного поварила.

Подправила яичными желтками.

Дала попробовать Евгению. Евгений остался доволен.

Принялась готовить второе – макароны.

После обеда невеста с заплаканными глазами стала мыть тарелки, перетирать рюмки.

Евгений под влиянием Торопуло увлекался кулинарией. Он выдумывал соусы. Он сердился, когда Ларенька морщилась; он считал, что кулинария может унижить его только в глазах дураков.

– Ты ничего не понимаешь, Лариса, – говорил он.

Когда все было готово, жених и невеста вернулись в комнату. Невеста стала переодеваться, жених сел спиной и принялся читать исполненные прелести проповеди Массильона, достойного соперника Босеюэта и Бурдалу. Когда читал Евгений, всегда перед ним появлялись образы в костюмах и со всеми мелочами. И сегодня, собственно, наслаждался Евгений не проповедями благочестивого оратора, а его фигурой, его платоническим романом с г-жой Симиан, внучкой покойной маркизы Севинье. Милый проповедник ходил каждый вечер читать этой молодой особе, любящей хороший слог, книгу, сочиненную для нее.

Насладившись своеобразным чтением, Евгений, так как оставалось еще достаточно времени, усадил невесту и стал обучать ее французскому языку.

У Лареньки было худенькое веснушчатое личико, руки и ноги как палочки и голубые, цвета воды, глаза.

Невеста, переодевшись, села у прозрачного окна.

Вечерело. Два тома татищевского словаря лежали на столике.

Евгения привлекали фигуры, имевшие душу более занимательную, чем великую, вроде Людовика XI; фигуры феодальных злодеев, вроде Жюль де Рэца, и радостный, жестокий и цинический XVI век. Пока невеста переводила, жених то перелистывал пожелтевшую хронику, то рассматривал портрет Людовика XI, то читал о въезде короля в город Париж через ворота Сен-Дени, как для встречи короля люди, и дикие люди, сражались, как три прекрасные девушки изображали сирен, совершенно обнаженные, и пели мотеты и бержереты, и рядом с ними играло множество инструментов. И как для того, чтобы могли прохладиться входившие в город, было устроено так, что различные трубки фонтана выбрасывали молоко, вино и уроскас. Что значит уроскас – Евгений не мог найти ни в одном словаре, но подозревал, что это – нечто душистое.

Описания встреч и празднеств, фейерверков и процессий волновали Евгения. В нем совершенно отсутствовало чувство ответственности перед кем-либо или перед чем-либо. Профессорский сын, дед которого претендовал на один из балканских престолов, был смешлив, любил переодевания, любил жестокость, соприкасающуюся с фантастикой. Он с любопытством читал о рыцарях, которые заставляли своих жен съедать сердца возлюбленных, превосходно приготовленные; о каком-нибудь молодом дворянине, обижавшем в виде мести свою тетку под открытым небом в присутствии всего своего отряда, о чубаровских делах XI века, о взрослых дочерях, бросаемых в бочках в море, чтобы смыть бесчестие; его занимали короли первой расы тем, что они производили себя от инкуба, и дом Лузиньянов действовал на его воображение, потому что претендовал на то, что происходит от Мелюзины, наполовину женщины, наполовину змеи. В силу той же склонности к фантастическому Евгений любил свечи; при виде свечей он вспоминал, как один рыцарь потчевал три сотни кавалеров своей свиты жарким, приготовленным на пламени восковых факелов.

Ко всему тому же Евгений был еще и шулером, но шулером не таким, какие существовали в конце XIX века: он не являлся каждый вечер в накуранный зал клуба, как мелкие арапы, не опускал стянутый золотой за свой собственный воротник, не утверждал, что он поставил деньги, которые, собственно, поставил его сосед, не наступал с видом оскорбленным и не устраивал скандалов, не вымогал денег на игру; его не боялись и не избегали.

Напротив, с ним было весело: он был греком по профессии, как понимали слово «грек» в XVIII веке, т. е. веселым обманщиком; его любимое изречение было: «On peut dire, en gèneral, que tous les hommes sont aujordhui grecs par systèmed'existance»¹.

– Только одни, – добавлял он, – не знают, кто они, другие подозревают, третьих – это открытая профессия. Пусть закрыты игорные дома, для меня – везде игорный дом: будь то парк с тихой рощицей, павильонами и псевдоклассическими гробницами, будь то радиостанция в центре города с ее микрофоном, усилителем, пробковыми полами.

Но чтение было прервано. Неожиданно забежал Василий Васильевич Ермилов.

– Так вот, Ларенька, – сказал он, лишь только вошел в комнату, – не знаете ли вы, кто такой Лебедев? В тот памятный вечер, говорят, в летнем Буффе он увивался за Варенькой и поднес ей букет роз; может быть, его фамилия совсем не Лебедев? Я на минуточку только забежал к вам, узнать: может быть, вам Лебедев, или как его, известен?

Ларенька помогла Василию Васильевичу раздеться. Положив портфель с карточками своей дочери, Ермилов сел на диван.

– Я уже навел справки, – продолжал Василий Васильевич, – Лебедев Платон Дмитриевич – ужасная личность; он присвоил себе квартиру композитора Кончалова, его следует бояться.

В это время Ермилов заметил у окна Евгения. Василий Васильевич прервал разговор.

– Мой жених, – представила Ларенька Евгения Василию Васильевичу.

– Как же, мы давно знакомы!

Евгений незаметно ушел на кухню хлопотать. Ларенька Василия Васильевича не отпустила.

– Сейчас будет готова чудесная... я уж не знаю что, – сказала она, – посидите, Василий Васильевич, а я вам отыщу письмо Вареньки ко мне.

Евгений вошел с графином и рюмками. Керепетин появился, вслед за ним появились еще юноши.

Поздно ночью разложил Василий Васильевич карточки своей дочери на отдельном столике и стал объяснять каждую фотографию. Он считал своей обязанностью продолжить жизнь своей дочери.

Гости столпились у столика и стали рассматривать, передавая друг другу фотографические карточки.

Ермилов объяснял, почему здесь Варенька в норвежском костюме, сколько лет Вареньке на этой карточке, сколько на той.

Вот Варенька в костюме балетного училища, а вот в балетных пачках.

Им всем, хотя и понаслышке, неизвестна была Варенька. Скоро старик овладел разговором.

От выпитого вина всем было тепло, впереди была целая ночь.

Евгений ознакомил своих гостей с последней американской новинкой композитора Коула, показал удар всем локтем по клавиатуре, сиренообразное звучание струн рояля, причем одна рука извлекала звуки под поднятой деккой, а другая прыгала по клавиатуре. Затем исполнил присвоенный им опус одного заграничного композитора и, наконец, сыграл фокстрот своего сочинения «Сванская башня».

– Коул не является новатором, – пояснял Евгений, окончив музыкальную картинку. – Ведь можно производить звуки на скрипках, альтях, виолончели, ударяя по струнам древком смычка. Посредством этого приема получается очень странное бряцание. Вспомните «Пляску смерти» Сен-Санса, да и Берлиоз в своем «Эпизоде из жизни артиста»...

– Наш полк стоял во Пскове, – продолжал рассказывать старик, дрожа от внутреннего озноба.

¹ В общем, можно сказать, что теперь все люди греки по своему отношению к жизни. – *Прим. автора.*

Ему хотелось скорей перейти к рассказу о Вареньке.

– Была японская война. Я выдержал экзамен на прапорщика и погрузился в армейскую жизнь. Поизнаться, это была страшная жизнь. Потом я расскажу дело капитана Органова, человекоубийцы.

Лица у девушек стали внимательны. Керепетин, сидя в кресле, важно курил.

– Так вот у нас в полку был старший врач Перфилин. Подаст ему фельдшер отпускной билет подписать, подадут ли ему требование на медикаменты, или понадобится на кого-нибудь взыскание наложить – отвечает старик: «Завтра подпишу». Так было со всеми бумагами, несмотря на все резоны. Это было настолько странно, что полковая молодежь заинтересовалась. *Galant cavalier*, адъютант полка, позвал денщика:

– понимаешь, братец?

– Так точно, ваше высокоблагородие!

Стал подсматривать денщик в замочную скважину; войдет старший врач в свою спальню, снимет с себя белый китель, медленно и аккуратно, по-стариковски, повесит на спинку стула, сядет к ночному столику, постучит согнутым пальцем, склонит набок голову и прислушается; опять постучит и опять прислушается. Вот и вся страшная тайна! И на следующее утро пустяковую бумагу подпишет. Давным-давно сын его умер. Для врача же его мальчик вырос, стал умницей, молодым человеком, и с ним-то старик перед сном беседовал – подписать или не подписать бумажку. Каково?

– А дело капитана Органова? – спросила Ларенька.

– Еще рюмочку? – предложил Евгений.

Керепетин увлек Лареньку танцевать фокстрот.

Опять старику захотелось перейти к рассказу о Вареньке, и опять он сдержал себя.

– Монашки брали воду из проруби. Глядят, что-то в проруби виднеется. Стали кликать; собрался народ; вытащили – связанная женщине вся в черном; одна нога в красном чулке, а другая босая.

Стояли извозчики у костра, грелись. «Не моя ли Анютка?» – сказал один из них. Влез на облучок, хлестнул лошадь кнутом и понесся в больницу.

А надо сказать, что Анюту у нас в полку все знали. Стоскуется офицер, захочется ему семейной жизни, вызовет письмом или через денщика Анюту из домика ее отца. Сложит свои вещи девушка и пойдет. Начнется тихая семейная жизнь недели на две; шьет, и носки штопает, и стряпает Анюта, а потом подарит ей офицер материи на платье или дюжину чулок, или пальто справит...

Уйдет Анюта.

А следователь нашел волоски меха на спине ротонды покойницы.

Отнес их к меховщику Фадееву. Тот стал волоски мочить и испытывать. Определил, что они от зайца.

Стал следователь разузнавать в полку, кто страстный охотник? Оказалось, капитан Органов.

Зашел будто невзначай следователь в дом капитана Органова в отсутствие хозяина и стал стращать денщика. Тот все и выложил. Повел в сарай, показал.

Полетел следователь к командиру полка.

Посадили денщика на гауптвахту. Поползли слухи по городу.

А капитан сообразил – и мигом на гауптвахту.

– Вот что, братец, – сказал он. – Каторги тебе все равно не избежать, а я буду о тебе заботиться. 25 рублей в месяц высылать, шубу куплю, прими всю вину на себя, а так ты голый на каторге сгинешь.

Перевели следователя за излишнюю ретивость в другой город. А солдата на каторгу сослали.

Я, будучи молодым, заинтересовался этим делом.

Узнал, что до этого капитан Органов в Ямбурге служил, что и там с ним какая-то история стряслась. Поехал туда, собрал нити.

Оказывается, там капитан Органов был некогда женихом, увез невесту в гостиницу, да там ее наутро мертвую нашли. Я познакомился с сестрой убитой, гостил у них; славная была семья.

Вот каков был постоянный председатель суда чести капитан Органов! Одет он был всегда с иголочки, бритый, душистый, настоящий *galant cavalier*.

А вот еще случай.

Жара, июльская жара, пыль.

От солдатских казарм к офицерскому общежитию идет поручик Оглоблин. На небе ни облачка; поручик идет и отмахивается. Над головой вьется муха, жужжит, преследует, во все время пути преследует. Все время отмахиваясь, дошел поручик Оглоблин до первого подъезда, взбежал на лестницу, встал, съежился и стоит. Спускается штабс-капитан Вырвич, большой враль, насмешник и бабник. Увидел он поручика Оглоблина, изумился, подошел и спросил:

– Павел Павлович, что же вы здесь стоите?

– Муха пристала, муха... – ответил поручик Оглоблин и вдруг заплакал.

Недурно, а? А ведь мухи-то никакой не было. Это было началом прогрессивного паралича.

– Во всем ре-минор. Во всем ре-минор, – обратился к Евгению Ермилов.

«Любимая тональность старинных цыганских романсов эпохи Аполлона Григорьева», – подумал Евгений.

– Хотел я потом написать целую книгу о полковой злой жизни, да раньше нельзя было, и теперь нельзя.

И вот в этой-то обстановке родилась Варенька! А вот еще, – воскликнул старик, чувствуя, что сейчас можно начать рассказ про Вареньку, и боясь начать его, – хотите про Федю с комодом?

В офицерском флигеле жил добряк Федя с комодом, эскадронный командир. Он каждое воскресенье садился, с виолончелью в футляре, на извозчика, чтобы поиграть в знакомом доме.

«Вот опять поехал Федя со своим комодом», – говорили офицеры нашего полка и улыбались.

Затем он женился не то на воспитаннице, не то на гувернантке графини И. Полюбил ее за скромность.

Оставила ему жена записку – убежала с поручиком на Кавказ. Погрустил Федя и стал по-прежнему по воскресеньям ездить со своим комодом. Прошло семь лет.

Было утро, воробьи за окошком чирикали. На кухоньке денщик Николай раздувал самовар.

Какое бы имя до своего назначения ни носил денщик, попав к Феде, он становился Николаем.

Николай ставил самовар, а Федя сидел в единственном кресле, курил и раскладывал гран-пасьянс. Только видит – подъезжает коляска; выскакивает девочка, а за ней выходит дама под густой вуалью. Екнуло у него сердце.

Вошла, продвинула вперед чужую для него девочку и только сказала смущенно:

«Она у меня хорошая...»

Погладил он ребенка по голове и только закричал Николаю:

«Дурак, что стоишь? Неси чемоданы!»

И затем тихо добавил:

«Ну, что ж, давайте чай пить».

Вечером в бильярдной смеялись, говорили, что Федя дурак. Старик помолчал, чувствуя, что сейчас можно начать рассказ про Вареньку, и боясь начать его.

– Хотел я, чтобы Варенька росла в другой обстановке, чтобы не было черного диванчика, обитого клеенкой «под кожу», трюмо, засиженного мухами, ужасных захолустных офицерских взглядов; поговорил с женой.

Ушел я из полка; поселились в Петербурге. Выписал я обстановку из Финляндии, – дешевая, а все же стильная; выписал и детский костюм из Норвегии; чтобы было все просто, светло.

Стал я следить, в какую сторону начнет развиваться Варенька. Из полка я ушел давно.

Раз иду я с ней, вдруг увидела она цветную афишу с головой Яна Кубелика. Я объяснил ей, как мог, что это знаменитый скрипач. Она повернулась ко мне, обхватила мои колени руками и воскликнула, указывая на афишу:

– Папочка, сделай, чтобы и я была такой! Обрадовался я, подумал: способность открывается. Стал возить Вареньку к скрипачу на Кабинетскую. Купил скрипку. Каждая скрипка носила свое название – «Bonheur»², «Изида», «Офелия», «Джульетта», «Соловей».

Как назвал мастер скрипку Вареньки, я потом скажу.

Скрипка с каждым годом должна становиться все лучше и лучше. Тон – глубже, благороднее и нежнее, вибрация – увеличиваться.

Лак «Психеи» я выхолил, вытирая мягким сукном. Лак стал похож на тончайший слой прозрачайшего самоцветного красного камня с подсыпанными под него золотыми блестками.

Слушал я, как искрится звук.

Летом познакомился в Териоках с органистом: играл он на хорах, в пустой кирке на органе, а я с Варенькой сидел в конце зала, слушали. Оставлял я Вареньку с ним, хотел, чтобы она к возвышенной музыке привыкала. Купили мы ноты Грига и Сибелиуса, чтобы во всем был один стиль, чтобы Варенька с детства стиль чувствовала. Моя жена играла на пианино.

В особенности Вареньке нравились Е-мольная соната Грига, «Песнь Крестовика» и «Туанельский лебедь» Сибелиуса, и всё Чайковского.

Уже с особенным вниманием посещал я концерты, слушал обольстительно-подкупающие звуки. Старался познакомиться со знаменитыми скрипачами, чтобы у них поучиться чему-нибудь и помочь Вареньке, осматривал скрипки. Удивил меня лак Страдивари – плотный, блестящий, черноватый у подставки, затем красный, а далее переходящий в ослепительно стеклообразный грунт. Лак на нижней деке окончательно обескуражил меня – лак был набросан как-то кляксами, густым, толстым, плотным веществом.

У Вареньки не оказалось таланта.

Умолк, стал собирать фотографии своей дочери и складывать в портфель. Засуетился.

Было уже поздно и, несмотря на уговоры Лареньки и Евгения, ушел.

Была звездная ночь. Из еще освещенных театров и кинематографов лились последние толпы. Он всегда с Варенькой возвращался на извозчике в этот час с концертов или из театра.

Погруженный в воспоминания, Ермилов поднялся по освещенной лестнице, открыл дверь ключом, прошел по коридору в комнату. Огромное зеркало в золоченой раме, купленное им для того, чтобы могла видеть себя во время упражнений Варенька, отражало белую ее статуэтку на колоннообразной подставке, окруженной венками от почитателей, и противоположную стену с балетной палкой и цветами. По одну сторону зеркала стоял шкаф с собраниями сочинений – Гамсуна, Ибсена. «Северные сборники», несколько стареньких водевилей, изданных в миниатюрном формате, книги Гофмана, стихи Андре Шенье и Бодлера, Ахматовой и Блока, Пушкин в издании Суворина видны были сквозь стекло.

После смерти своей владелицы шкаф по-прежнему наполнялся. В него ставились новые книги, которые могли бы понравиться Вареньке. Старик читал, и с ним как бы читала его дочь.

² «Счастье» (фр.).

Ермилов поддерживал театральные и литературные знакомства: он посещал выставки, искал глазами то, что могло бы понравиться Вареньке. Всюду бок о бок с Ермиловым по-прежнему шла Варенька.

Он сел к своему рабочему столу, перенесенному сюда, в комнату Вареньки, загроможденному американскими и английскими техническими журналами.

Посреди лежала папка с рецензиями и некрологами, посвященными его дочери; в некрологах вспоминалось о том, как Варенька, будучи ученицей средних классов, во время выпускного спектакля в балетном училище танцевала ноктюрн Шопена, как она в следующем году исполняла с Даниловой и Наташидзе *pas de trois* из «Пахиты», что в сезоне 19... когда началась ее работа в труппе, успех Вареньки возрастал с каждым выступлением; следовало перечисление ролей и балетов, вспоминалось о том, что «Польку» Рахманинова из простенького танца Варенька превращала в богатейший мимический монолог; мелькали Виллиса в «Жизели», одалиска в «Корсаре», рыбачка в «Дочери фараона». На начинающих желтеть страницах журналов и в начинающих рассыпаться газетах разбирались недостатки телосложения Вареньки и говорилось о том, как приспособливалась она каноническую технику к своим данным. Писалось: «большой шаг недлинных ног создавал неповторимую новизну прямого прыжка... В воздухе ноги противоестественно разлетались, образуя почти прямую линию, вызывая в одно время протест и восторг зрителей». В другой статье вспоминалось, как в Павловске пожилые люди поднимались со скамей, чтобы посмотреть ей вслед, чтобы взглянуть на поезд, на вагон, в котором она поедет, говорилось о клетчатом платье и детском смехе, закреплялось, что в городе ее звали просто «Варенька», что приезжих водили по городу от фотографии к фотографии, что у балерины был овал лица точно из 30-х годов. И еще: что ночью, в трактире «Золотой якорь» на Васильевском острове, где на эстраде обычно играл оркестр из слепцов, матрос с разноцветными клеймами на груди подошел к оркестру и попросил сыграть по погибшей... и что в кабаке раздался Траурный марш Шопена. Затем шли рукописи, воспоминания друзей и знакомых о том, что Варенька любила свое тело и холила его для искусства, что она целыми днями мылась, причесывалась, все время делала свои упражнения и вспоминала отдельные места танцев, примеряла всякие ленточки, туфельки, мяукала, заговаривала голосами маленьких детей. Затем шли стихотворения поэтов и молодых дилетантов, посвященные ей.

Ермилов вспоминал, как его дочь, еще будучи ученицей, в «Фее кукол» укладывала свою любимую куклу спать в декорации и на окрик: «Ермилова, что вы делаете?» – прятала куклу за корсаж и выбегала на сцену.

Вот и Тифлис. «Лебединое озеро». Гастроль Вареньки. Конструктивная постановка – вся в черном с серебром и золотом. У кордебалета в руках цветы с желтыми, зелеными, красными лампочками. Два деревянных вращающихся вала с жестяными полосками изображают озеро. Злой гений в духе Квазимодо.

Вот и Харьков.

Василий Васильевич сосредоточенно перелистывал содержимое папки. Папка, его руки, плечи, большая круглая седая голова отражались в зеркале. Над зеркалом висели гравюры, изображающие Тальони и Фанни Эльснер в ореховых рамках 20-х и 30-х годов.

Ему грустно стало, что Варенька не испытала настоящей славы; что никогда не появится ни одеклона с ее фигурой в балетном платье, ни мыла, ни шоколадных конфет, ни карамели, что в честь ее не будет выбита бронзовая медаль.

Бесконечно хотелось вечности для дочери Василию Васильевичу, вечности – хотя бы в таком виде. Его ужасало, что Варенька пропадет бесследно.

Рядом с зеркалом, ближе к окну, стоял шкаф с ее неповрежденными куклами, по-прежнему открывавшими и закрывавшими глаза, балетными туфельками, альбомами, но все это он завтра осмотрит; на сегодня довольно; завтра как раз день рождения Вареньки, завтра придет верная ей и помнящая о ней галерка. А сегодня Василий Васильевич подошел к книжному

шкафу, отпер нижнее отделение и среди календарей, записочек от подруг отыскал дневник Вареньки.

Он осмотрел его со всех сторон, сдунул пыль, раскрыл, прочел первую фразу вслух. О том, что Варенька пишет дневник для себя.

Дальше продолжать не решился, хотя думал, что, может быть, в этой тетради и заключено объяснение гибели балерины.

«Как-нибудь иначе узнаю», – подумал он.

«Нет, Варенька для себя вела дневник, я никогда не решусь прочитать его!»

Молодые люди продолжали пировать. Они уже окончательно опьянели. Евгений ел селедку с сахарным песком. Смешал маринованные белые грибы с малиновым вареньем и уговаривал слабовольного Эроса эту смесь съесть.

– Петроний ел комариные брови в сметане! Уверю тебя, это очень вкусно!

Петя попробовал и остался доволен.

– Ничего, – сказал он, смеясь, – есть можно.

– А как ты думаешь, пробовал твой Торопуло бабочек? – спросила Ларенька.

– Он все пробовал! – ответил Евгений.

После пирушки Фелинфлеин сидел один.

Его прищуренные глаза и снисходительная улыбка, какая бывает у людей утром после удачно проведенной ночи, показывали, что он погружен в себя.

Карты лежали и на полу, и на стуле, и на столиках; свечи еще горели, но уже начинали дымить: на столике у стены светились графины и рюмки; дверь в соседнюю комнату была расворена. Ларенька в своем скромном платье спала на диване.

В комнату вливался рассвет и отнимал свет у свечей.

Фелинфлеин смотрел в окно. Женские образы возникали и, не достигнув настоящей плотности, исчезали. Мелькнула Ларенька с ее голубыми, цвета воды, глазами, показала кончик языка и пропала за высокою решетчатой оградой. Фелинфлеин последовал за ней и вошел в ворота. Это, по-видимому, был парк в английском вкусе, потому что здесь не было ни различных фигур, ни завитков из зелени, ни прямых каналов, – напротив, росли частые дикие кусты, стояли кедры, сосны, ели так, что, постепенно возвышая вершины над вершинами, тени над тенями, представляли взору амфитеатр. Ларенька спешила между деревьями. Видны были веселые равнины, пригорки, стада, лениво пасущиеся; источники лились с высоты холмов. По движениям Лареньки Евгений понял, что она идет на свидание; ему любопытно было: на свидание с кем? Сидел духовой оркестр; по движениям музыкантов Евгений понял, что музыка гремит вовсю. Сквозь деревья жених увидел толпу мужчин в цилиндрах и женщин в кринолинах, отплясывающих какой-то танец вокруг освещенного газовыми огнями павильона.

Оркестр играл все громче и громче; Ларенька присоединилась к пляшущей толпе; ее бесцеремонно схватил за руку бородатый господин в цилиндре, державший модную трость на плече, и увлек в круг танцующих.

Фелинфлеин прислонился к газовому фонарю; он видел, как несется толпа вокруг павильона.

«Лариса, как я люблю тебя», – подумал Евгений, подошел и склонился над спящей невестой.

Затем, все в том же радужном состоянии, взял стул, сел на него верхом, скрестил руки на груди и стал любоваться своей спящей невестой, провел по губе носовым платком и вообразил себя в будуаре у кокотки.

Поздно днем после пирушки жених и невеста встали, съели оставшееся и вышли *в сеть улиц*. Фелинфлеин, как всегда, бежал впереди; Ларенька спешила за ним; у инвалида они купили леденцов и побежали дальше.

Против Чубаровского переулка стояло двухэтажное грязное строение: здесь раньше был постоялый двор с громкой и яркой вывеской:

ОТДЫХ ЛИХАЧА.

Жених и невеста вбежали в ворота, пробежали двор наискось и скрылись во мраке черного хода.

Наступала легкая северная весна. Немногочисленные городские деревья покрывались почками, и многочисленные воробьи наслаждались солнцем. Детишки в переулках и во дворах играли, водили хороводы, пели свои бесчисленные песни, прятались, укачивали своих сестер и братьев.

Но в этом домишке было все мрачно; невозможный запах несся из открытых дверей; часть окон была забита досками; другая хотя и сохранила стекла, но почти не пропускала дня, настолько стекла были покрыты грязью и пылью.

Китаец в кепке и толстовке вышел из-за развалившейся пристройки и последовал за молодыми людьми; щенок встретил, залаял и, волнуясь, побежал за ними. Запах прелого белья бил в нос.

Фелинфлеин услышал шаги, обернулся поздоровался с шедшим позади хозяином.

Вошли в полутемную комнату.

Фелинфлеин лежал на простыне, держал трубку, вдыхал горький дым. Рядом с ним лежал китаец, поправлял огонек лампочки и говорил о том, как по-китайски собака, а как – щенок. Под нарами были свалены полушубки. У окна Ларенька сидела на досках железной кровати и ждала своей очереди.

Фелинфлеин ничего не видел; никакие незнакомые пейзажи не возникали, никакие малайские рожи не мучили его, и не возносился он, и вдруг не падал в бездну. К сожалению, все было тоскливо и серо. Дымок вился из-под полу, щенок скулил жалобно и невыносимо; китаец презрительно смеялся.

Фелинфлеин спустился с нар. Невеста вскарабкалась на нары. Евгений прилег на кровать. Его лицо стало бледным. Он пристально смотрел на длинные тонкие пальцы китайца; вынул из бумажки леденец, положил на язык, стало слаще.

Жених и невеста шли и шли. Наступил вечер, но они не чувствовали голода; шли неизвестно куда, – все равно было, куда идти. Оказались у Смольного собора; дома качались, плыл собор. Ларенька и Евгений вошли в сад. Огромные деревья, позлащенные солнцем, стояли неподвижно. К сожалению, не было ни малейшего ветерка.

Фелинфлеину стало жарко; он вытер холодный пот со лба.

– Мне нехорошо, Ларенька; сядем...

Опустились на скамейку. Евгений положил голову на плечо Лареньки.

– Лариса, – сказал Евгений, – я снял для себя комнату. Ты знаешь, я люблю свободу. Когда я работаю, я не люблю, чтобы мне мешали.

– Ты опять займешься музыкой? – радостно спросила Ларенька.

– Я займусь пением, Ларя.

– Где же ты нашел комнату? – спросила упавшим голосом невеста.

– Я тебе потом скажу. Это удивительное место! Там живут удивительно смешные люди. Я нашел ее совершенно случайно. Я сегодня пойду туда ненадолго. Ты ведь знаешь, Торопуло пригласил нас завтра на ужин. Я за тобой зайду завтра, вечером.

Евгений схватил чемоданчик и побежал. По дороге крикнул:

– Завтра в семь часов увидимся.

Утром, из жажды что-нибудь стянуть, Евгений помог хозяйке отнести тяжелую корзину с бельем на чердак.

Там Евгений увидел необыкновенно богатое зрелище.

Так как дом был бедный, то на последней площадке перила были деревянные. Как только открылась дверь чердака, нога ступила на мягкую землю. Крыша протекала, и под ней стояли ржавые подносы, старые ведра, полуразбитые горшки, которые могли еще удержать воду, но в хозяйстве были уже непригодны. Окно, так как стекла были разбиты, было загорожено решеткой от детской кровати. Под свод была рассыпана картошка. Хозяйка мокрой рукой обтерла все веревки, чтобы развесить белье. Каждую штуку белья встряхивала, и тончайшие разноцветные брызги летели в разные стороны. Старая железная кровать, которую не покупает тряпичник, но которую жалко было бросить, стояла у стенки сложенная; ящики с землей для цветов, матрац, который нужно перебить. Солнце льет. Весь чердак пронизан светлыми лучами, и вдруг Евгению показалось, что в темном углу, где крыша сходится с полом, сверкает белый парик с косой. Евгений подумал, что ему померещилось. Он подошел ближе и увидел, что это гипсовый бюст Потемкина на деревянной, выкрашенной в зеленый цвет подставке. Бюст был повернут лицом к стене. Евгений повернул подставку и стал рассматривать лицо. Он увидел, что на лбу и на щеках оставили следы ржавые потоки с крыши, кончик носа был отбит, на ухе висела паутина, на воротнике лежал такой густой слой пыли, что воротник казался серым.

Развешивая белое белье к солнцу, а ситец в темные углы, Наталья Тимофеевна рассказала, что у хозяев этого дома был сад, отгороженный от двора высоким деревянным забором, и были там очень большие кусты сирени, так что в Троицу, когда цветы цвели, они были видны над зубцами забора; была яблоня, которая цвела весной, большой куст шиповника, вокруг которого мать хозяина, купчиха, сажала ландыши. В углу сада находилась беседка, выкрашенная в зеленую краску, и была горка, а под горкой был погреб. Посредине сада была клумба с блестящим шаром, а у входа в беседку стояли на высоких деревянных столбах белые горшки с цветами. Почти у входа в сад, тоже на высоком столбе, стоял этот Потемкин. С другой стороны у входа росла коринка. Потемкина домовладелец выставлял весной сам, заново окрашивал подставку, белил голову и шею и от столба протягивал веревку к забору, под веревочкой сажал турецкие бобы. К осени получалась сплошная зеленая стена. Если птицы роняли на голову Потемкина, то хозяин утром аккуратно это смывал тряпочкой.

Евгений слушал, глядя в окно. Внизу уменьшенные трамваи резко звонили. На колокольне собора сторож раскачивал большой язык колокола, Евгений ждал, когда язык коснется стенки колокола и раздастся первый басовый звук. Широкая даль, в огородах разноцветные фигуры окапывают грядки, грузовые автомобили с приглушенным шумом проносятся по тихой узенькой улице.

После своего рассказа хозяйка почувствовала симпатию к Евгению. Через несколько дней принесла книжку – старую, пожелтевшую от серости, со следами пальцев.

– Вот, молодой человек, не желаете ли полюбопытствовать?

Евгений любезно полюбопытствовал. Читал, что иностранцы без изъятия должны были приноравливаться к нраву Потемкина, о том, что дьячок должен был доносить каждое утро вельможе, что Фальконетов монумент благополучно стоит, о турках, об игре в карты на драгоценные камни, Евгений думал: «Наверное, вельможам XVIII века должен был нравиться Светоний». Так как язык пожилого населения того дома, в котором жил Евгений, сохранил следы XVIII века, решил дать Евгений хозяйке своей почитать «Жизнь двенадцати цезарей» в переводе XVIII века.

«Прежнее купечество чисто случайно не знало этой книги, потому что она не выходила в доступных изданиях, между тем все данные были у этой книги, чтоб войти в собрание анекдотов, сонников и гадальных книг», – размышлял Евгений, отыскивая этот том в своем чемодане.

Евгений передал хозяйке вместе с Потемкиным Светония.

Сказала хозяйка, пряча книжку в комод:

– А ведь умный был человек Потемкин, и какую власть мог иметь один человек, и как остроумно он отвечал.

Управившись со стряпней, Наталья Тимофеевна надела очки и принялась читать «Жизнь двенадцати первых цесарей римских». В этой книге почти не было незнакомых ей слов и все было понятно – здесь не было сословия всадников, а были рыцари, здесь были не ученые названия, а башмаки и сапоги, кареты и открытые коляски.

С любопытством она читала про барскую затею Калигулы, он пил драгоценнейшие камни, разводя их в уксусе, сравнивала Калигулу с Потемкиным, который играл на драгоценные камни, а начало главы о Домициане в точности совпадало с рассказом ее бабушки, бывшей крепостной, о вольготной жизни самодура помещика, который тоже каждый день обыкновенно запирался на некоторое время один и ничего больше не делал, как только ловил мух и вострою спицею их прокалывал.

Стало лень приводить комнату в порядок. Евгений раскрыл чемодан. В нем были игроки в карты Питера де Гоха в комнате с раскрытой дверью на светлую улицу, и двое уличных мальчишек-шулеров, обыгрывающих за деревянным столом третьего, и снимок, изображающий игру в трик-трак в буржуазном доме, и другой, изображающий драку крестьян из-за карт, и третий – ландскнехтов, мирно сражающихся в карты среди блудниц.

Погруженный в мир игры, Евгений встал. Солнце. На улице толпился народ. Унывные звуки гитар, трубы граммофонов, цыган с пляшущим медведем, китаец в дореформенном костюме, заставляющий мышей кататься на каруселях, хор гопников со склоненными головами, смотрящий на лежащую перед ним кепку, – все это развлекало Евгения как живая картина.

Вышел из кондитерской, унося похищенную плитку шоколада. Сел в первый попавшийся трамвай. Самый процесс похищения доставлял Евгению удовольствие. В трамвае он встретился с Ермиловым и стал угощать его шоколадом.

Он сошел на улице 3 Июля, вошел в книжный магазин и, просматривая новинку, стащил несколько книг. Затем он пошел на проспект Володарского и продал эти книги в магазин «Дешевой книги». Так как книги были не разрезаны, то книгопродавец решил спекулировать. Фелинфлеин вышел, унося и тут стянутую книгу, и продал ее книжнику у решетки. Затем купил 500 граммов винограду и стал есть. Он сосчитал деньги: хватит завтра на Эрмитаж. Скорее за Ларенькой, и – к Торопуло.

Тихо, точно с покражи, вернулся Торопуло домой. Вынул из бумаги сизую птицу, зажег электрический свет и стал ощипывать ее.

На столе лежали на блюдцах мозг из говяжьих костей, куриный жир, петрушка, соль, лимонные корки, зеленый горошек, стояло вино.

Ощипав и распластав сизую птицу, Торопула положил ее в глубокую сковороду, где уже растопились бычий мозг и полуптичий жир, и, посыпав крошеной петрушкой, стал исподволь жарить. После добавил говяжьего отвара с вином и довершил вареньем. Жигу сгустил несколькими жариваниями, приправил солью, лимонной коркой и сметаной, приварил, прибавил зеленого горошку.

Фелинфлеин сидел рядом на табуретке, курил и завидовал Торопуло. Чего-чего только за свою жизнь не ел Торопуло! И студень из оленьего рога, и губы говяжьи с кедровыми орешками, с перцем, с гвоздикой, и желудок бараний по-богемски и по-саксонски, и пупки куриные,

искрошенные в мелкие кусочки, и хвосты говяжьи, телячьи и бараньи, и колбасы раковые, и телячьи уши по-султански, и ноги каплуна с трюфелями, и гусиные лапки по-биаррийски, и цыплят с грушами, и ягнячьи головки в рагу, и яйца со сливками, и петушьи гребни. Смешно и интересно. Вся жизнь добряка была посвящена еде. Честолюбие у него полностью отсутствовало. Театра он не любил; любимым его чтением были кулинарные книги. В кулинарии Торопуло понимал толк, и о ней он мог говорить с увлечением. Благодаря кулинарии он знал и всевозможную географию, и историю; она же заставила его научиться читать на всевозможных языках; она же превратила его в превосходного рассказчика, и его очень любил слушать Евгений, хотя к нему и относился слегка свысока, как к добряку.

Библиотека Торопуло состояла из бесчисленного количества кулинарных книг, каталогов фирм, иностранных и русских, альбомов с золотистыми, бронзовыми, серебряными, звездчатыми, апельсинными бумажками, тетрадей с конфетными бумажными салфеточками.

На кулинарные книги иногда Торопуло поглядывал со сладострастием. Отойдет на три, на четыре шага, обернется и посмотрит, и вдруг томно станет у него на душе от скрывающихся за любительскими переплетами яств. Хотя много на своем веку перепробовал блюд Торопуло, но еще более скрывалось неис-пробованных. Сидя перед своими книгами и смотря на них, вздыхал Торопуло о кратковременности человеческой жизни, о том, что всего нельзя перепробовать.

У Торопуло была собственная дача в русском стиле, с фруктовым садом. Торопуло был инженер, и неплохой инженер, только это его не интересовало. Конечно, он читал английские, немецкие и американские журналы и сконструировал даже какой-то мощный двигатель. «Да это все не то, это все пустяки, о которых и говорить не стоит; это так легко: посмотрел, почитал, повозился... а ну их к черту! Давайте поговорим о другом».

И Торопуло спрашивал у гостя, чем кормят сейчас в общественных столовых.

Сегодня лампа горела в комнате Торопуло, хозяин возвышался в кресле, гости сидели на диване и вели рукописный журнал под названием «Восемь желудков».

В кружке Торопуло все носили не свои имена, а чужие – звучные и театральные. Торопуло сросся с именем Вакха; Евгений носил с изяществом имя Вендимиана, что значит: «собиратель винограда»; худенький молодой художник Петя Керепетин гордо ходил, выпятив грудь, под именем Эроса. А свою жилицу Торопуло низвел в Нунехию Усфазановну. Сейчас она пошла покупать для себя пирожное.

Над диваном висела огромная картина маслом, освещенная двумя электрическими бра; на ней изображались: знатный дворянин в парчовой одежде, с вышитым воротником, в шапке, унизанной жемчугом, едущий верхом; вокруг него пятнадцать или двадцать служителей пешком, за ними попарно шествуют стрельцы: двое со скатертями, двое с солонками, двое с уксусом в склянках, двое с парой ножей и парой ложек драгоценных, шесть человек с хлебом, потом с водкой; за ними несут дюжину серебряных сосудов, наполненных вином, судя по изображенному времени – испанским, канарским и другими. Затем несут столь же огромные бокалы немецкой работы, далее – кушанья: холодные, горячие – все на больших серебряных блюдах. Всего на картине шествуют с яствами, напитками, посудой человек 400. Внизу на медной дощечке надпись: «Угощение посла».

Ларенька, сидя на диване, разговаривала с Мурзилкой, толстым, ласковым, буддоподобным котом, с белым нагрудником; казалось, что кот, несмотря на свой божественный вид, вот-вот сядет к столу и начнет гурманствовать. Розовоносый, украшенный ложными глазами и ушами как бы на розовой подкладке, кот всегда пел при виде Торопуло. Кот оживал с утра, в ожидании пищи. Ходил неотступно следом за Торопуло; взбирался к нему на плечо и ударял в щеку холодным носом. Но Торопуло кормил кота в определенные часы, чтобы не испортить коту аппетита. С аппетитом пообедав, кот разваливался на диване и погружался, если никого не было, в сладостный сон до следующего утра. Если играла музыка, кот приоткрывал глаза

и некоторое время слушал; если садились рядом с ним, он садился тоже; наказывать себя он разрешал только Торопуло.

Мурзилка очень полюбил Лареньку. Рядом с Ларенькой сидел Ермилов, попавший сюда впервые.

– Хе-хе, чем нас хозяин сегодня попотчует? – сказал один из гостей, потирая руки, останавливаясь в дверях и созерцая стол.

– Предвкушаю, предвкушаю. Во всем городе только мы порядочно кушаем. Остальные едят всякую чепуху.

– Да, – ответил Торопуло, – вы ко мне как мотыльки на огонь. Вы бы без меня пропали; да и мне было бы без вас скучно. Вы моя семья; моя прямая обязанность о вас заботиться.

Торопуло любил разноцветность блюд. Поэтому стол производил, несмотря на скромные расходы, праздничное впечатление. К сожалению, не было дыни, разрезанной пополам, сваренной в сахаре с перцем, сладости невообразимой.

– Жеребеночка еще хотите? – спросил Торопуло.

– С удовольствием, – ответил Евгений. Ермилов стал рассказывать Евгению:

– Раз я ехал в трамвае. Это было в голодное время. Пробрался к выходу и вдруг слышу такой разговор: «Я вас научу, лучшие сорта – доги, бульдоги, мопсы. Ввинтите крюк в потолок, поставьте таз, табуретку, наденьте собаке петлю... я всегда так делаю. Режу и кровь выпускаю. Затем кладу в уксус на четыре дня. Поверьте, очень вкусно. И вы будете таким же полным».

Я обернулся. Позади меня полный человек говорил тощему: «Только для этого необходимо подговорить мальчишек».

– Вы напомнили мне, – сказал Эрос-Керепетин, – случай в Петергофе: то было во время всеобщего голода. Парк был погружен в сумрак: в небольшой комнате собрались двенадцать сотрудников местного музея, среди молодых людей была и старушка, кончившая Бестужевские курсы. На столе, накрытом белой дворцовой скатертью, зашумел самовар, появились на блюде, украшенном вензелем, ломтики черного хлеба и огромная банка, наполненная засахарившимся медом.

Из окна открывался вид на море. Научные работники сидели в своих довоенных костюмах, помощник хранителя отделения – в изящном вестоне.

Хлеб и мед поглощались и вызывали род опьянения; глаза у всех разгорелись, и все торопились есть. И вдруг пировавшие замолчали, со стыдом и смущением переглянулись, перестали есть и оживленно шутить и отвели взоры от банки с медом.

Среди полного безмолвия старушка просительным тоном сказала:

– Вы ничего не будете иметь против, если я возьму этот мед себе?

– Конечно, конечно! – оживились все и ответили почти хором: – Ничего не имеем против!

Старушка вытащила из банки мышь и хладнокровно держала ее за хвост над банкой, пока мед не стек обратно в банку. Подошла к окну и выбросила мышь в парк. Довольная, направилась вместе с банкой в свою комнату.

На следующий день мы все с завистью узнали, что она пошла в близлежащую деревню и выменяла этот мед на двадцать бутылок молока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.